

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Д.В. Григорович «Повести и рассказы» //ЖАЗУШЫ, Алма-Ата, 1987
FB2: "Busya ", 10.05.2008, version 1.0
UUID: d603be83-2454-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Васильевич Григорович

Пахарь

Содержание

I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	0006
II	0010
III	0013
IV	0016
V	0018
VI	0021
VII	0022
VIII	0024
IX	0026
X	0028
XI	0030
XII	0032
XIII. ПРОГУЛКА	0035
XIV	0039
XV	0041
XVI	0043
XV	0046
XVIII	0050
XIX. ПАХАРЬ	0054
XX	0056
XXI	0059
XXII	0062
XXIII	0064
XXIV	0068
XXV	0071

XXVI	0074
XXVII. КОНЧИНА	0077
XXVIII	0081
XXIX	0085
XXX	0088
XXXI	0092
XXXII	0095

**Дмитрий Васильевич
Григорович
Пахарь**

I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Звонили к вечерне. Торжественный гул . . . Звон нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвою. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мною при расставании с городом. Я как будто воскрес душою, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился наконец за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города па поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются тол-

пы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цветами тележки, в которых величественно восседает толстая мещанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мещанин, — купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов... И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать

звяканье медных пятак, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжанием, которое преследует вас в городе и днем, и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит от того будто бы, что в их пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания... Я страшно тяготился городом!...

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собою особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной

усталости и непременно чувство какого-то недовольствия и даже раскаяния, – разлука с городом делается сладостною выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайнему горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

С каждым шагом вперед, кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощусь с большой дорогой. К счастью, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землею и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало, казалось, свежесть самой земле, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года; где-где разве развертывался и сквозил мягкий, как бархат, лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Тишина необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачет головкой; а

чувствуешь, между тем, – слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнью и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься... И – странно! – звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее... Совсем не то, что в городе... В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горлинка и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землей, нагретою солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет про-

шлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на вешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе; реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба: леса – особенно, если смотреть на них сбоку – видимо, почти опушались. Еще два-три такие дня, и птицы, которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по чернозему следы, как бы покрытые лаком.

Славное было время для путешествия!

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Недалеко, кажется, но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всего брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вас когда-нибудь ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы

до Перми – те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Муррома до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» – вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер – все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какую частою, мелкою

сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?... Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте – они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведанного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, в тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!...

IV

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды: где деревушку, которая боязливо лепится по косогору, где пруд с головастыми ветлами, осокой и дощатым плотом, на нем толпа баб с вальками и коромыслами, пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избушки; где группу кудрявых дубков с вьющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь, бескрайнюю, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где лощину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставчиками; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так беззаботно

зверяют ему свои кости. С диким криком и верезгом поднялась стая чибезов, испуганных шумом... И вот снова поднялись вы по косо-
ру, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бо-
ра, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косы-
ми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село, с белой церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и коло-
дезным журавлем, высоко чернеющим в небе... И как, право, хороши эти виды!

А между тем, чем далее подвигался я в глубины полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух, и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды...

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильно, я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилося вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто, из

снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не пережили. Философия наших знакомых – больше ничего, как фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведт. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом – какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо, в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, – и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно со-

знается, что вся философия его – вздор и гроша не стоит!

VI

С каждым поворотом колеса я приподымался и нетерпеливо вытягивал шею. Глаза с жадностью перебежали от ряда знакомых ветел к крыше дома, которая начинала выглядывать из-за угла старого сада. Я уже мысленно ступал по тропинке, протоптанной через двор, она вела к липовой аллее, свидетельнице моих детских игр, первых моих слез и первых радостей. Существуют ли еще качели, привешенные к шесту между двумя старыми деревьями?... Что случилось с моим садиком, который занимал всего аршин, но казался мне тогда великолепным парком?... Все ли еще существует и белеет на своем месте, за ветхою стеною амбара, каменная плитка, над которой, обливаясь когда-то слезами, хоронил я умершего воробья... Я превращался в ребенка; я волновался и радовался, как будто меня ждала там и простирала ко мне руки вся минувшая моя юность; как будто ждало меня там бог весть какое счастье!...

VII

А счастья, право, никакого не было! Дом мой опустел давным-давно, никто не махал мне издали платком; никто не бежал к околице; никто меня не встретил. Самый дом глядел угрюмо, неприветливо своими серыми бревенчатыми стенами, наглухо заколоченными ставнями, заброшенным палисадником и полуобвалившимся плетнем, из которого половина кольев была вынута.

– И все-таки – не странно ли это? – в душе моей ни тени тоскливого чувства! Кроме сладких воспоминаний детства, в сердце постепенно рождалось еще другое ощущение... сказать ли вам? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встретил меня, никто в эту минуту обо мне не думал и не заботился!... Я вошел в этот опустелый дом с тем же радостным биением сердца, с каким подъезжал к нему. Не вините меня в мизантропии или вообще в расположении к мрачному одиночеству. Не нужно быть вовсе мизантропом, чтоб чувствовать иногда сильнейшую потребность умственного, душевного

спокойствия. Я просто утомился городом и искал тишины.

VIII

Мне случалось встречать людей, горячо привязанных к семейству. Вдруг, посреди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоске. И в мыслях, и на языке была одна только мысль: уехать, исчезнуть куда-нибудь, где бы ничто не напоминало прерванных на время связей; и все это без малейшего повода со стороны семейства или внешних каких-нибудь обстоятельств.

В числе убеждений, вынесенных мною из жизни и внушенных мне опытом, находится, между прочим, следующее: очень часто свет удивляется продолжительности некоторых сердечных связей. Вся тайна заключается в препятствиях, которые ставит этот же самый свет между связанными людьми, и мешает им не только неразрывно делить жизнь, но даже мешает беспрестанно видеться. Уничтожьте препятствия, и тогда, наоборот, все станут удивляться непрочности сердечных привязанностей. Счастье многих и многих семейств поддерживается только временными

разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнее; но все равно испытывают пресыщение. И, наконец, даже и без этого чувства, так уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственным блаженством существования. В такие минуты самые ласковые речи, самая искренняя, задушевная нежность способны только раздражать нервы.

IX

Дом мой расположен как нельзя удобнее; он отдален от деревни; между ними холм и роща; из деревни не доходит ни одного звука, кроме лая собак и петушиного крика на заре. Самая деревня находится в исключительно благословенном положении: она как бы затеряна в глубине уезда между нескончаемыми полями и рощами.

Первым движением моим, Как только я вошел в комнату, было отворить окно в сад. Ночь сменила сумерки Высокие липы обступали сад; кусты, разбросанные в беспорядке и успевшие уже в эти два дня опуститься велестью, сливались местами в одну совершенно темную массу и неопределенно круглились между дорожками, которые слегка серебрила роса. Слева только, между черными, как уголь, стволами, светлела часть пруда; в ней, как в чистом зеркале, незыблемо отражались синее небо и робко мерцающие звезды. Струи воздуха, пробегавшие перед закатом, не трогали теперь ни одной веткой. Запах вечерней росистой мглы, смешанный с запахом почек,

молодых отпрысков, и запахом прошлогоднего листа, проникал, казалось, каждый атом воздуха и медленно курился над садом. Самое полное, самое невозмутимое безмолвие распространялось не только вокруг, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустил на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлению. Слух мой, освобожденный от трескотни города, получил страшную чуткость; но тишина окрестности ничем не нарушалась. Изредка чиликнет внезапно пробудившаяся птичка, прожужжит запоздавший жук, стучаясь рогатой головкой о сучья, или послышится треск молодой ветки, которая распахнулась от избытка свежего сока, и снова воцаряется молчание...

Влияние тишины, царствующей над полями, вполне может быть доступно тем только, кто долго тяготился треволнениями житейского моря, чей слух и чьи нервы многие годы постепенно тяготились и раздражались безумной суматохой города. Я чувствовал, как тишина вливалась в душу, и как делалось в ней и покойнее, и светлее.

Х

Каждый день, прожитой здесь, приводит меня к убеждению, что сельская жизнь улучшает человеческую природу. Не считая того, что она ставит в необходимость жить больше с самим собою, представляет мало развлечений и тем самым сосредоточивает мысли и делает их яснее, одно из главных преимуществ ее заключается в том, что она значительно усмиряет нашу гордость. Влияние ее в этом случае совершенно противоположно влиянию города.

Там все заставляет нас много о себе думать: стесненные в домах и улицах, которые кажутся широкими только сравнительно, встречая на каждом шагу тысячи предметов, изобретенных человеком, мы невольно начинаем считать себя чем-то особенно важным. Все подтверждает уверенность в наше могущество, силу и способности. Здесь впечатления совсем другого рода: здесь уже давит нас один этот простор, которым окружены мы с утра и до вечера. На улицах, между домами, точно делаешься заметным; здесь — превра-

щаешься почти в ничто, в едва видную точку. Ваша власть уничтожается, как ваши размеры: здесь все растет, создается, разрушается и движется, не обращая на вас ни малейшего внимания, не спрашивая ни вашего совета, ни вашего разрешения.

В городе отдаешь себе ясный отчет в своем гордом удивлении и, надо сказать, тотчас же переносишь частицу этого удивления к себе самому; здесь – удивляешься молча. Ум, пораженный бесконечным совершенством природы над совершеннейшими делами рук человеческих, пораженный всегдашним ее величием, смиренно сознает свое детское бессилие.

XI

Здесь встречаются так же, как и везде, неудачи, препятствия, неприятности; но если не выходишь из мирной сферы сельской жизни, самые эти неудовольствия не раздражают духа: в них всегда есть что-то примирительное. И, в самом деле, на кого здесь пенять? На дождик ли, который не вовремя упал на вашу ниву? на запоздалую ли весну и холодные утренники, которые задерживают рост травы и озимей? на червь ли, подточивший корень вашего хлеба, или на град, скомкавший широкое поле ржи, так приветливо золотившееся на июньском солнце и обещавшее такую богатую жатву?... Никто в этом не виновен. Горе «не от человека». «Так, знать, богу угодно!», «Его на то святая воля!...» – скажет вам здесь простолюдин. Вместе с этой нивой он и семья его теряют, однако ж, спокойствие целого года. Мысль эта является здесь непрерывно. Горе, поразившее вас, велико; но оно не оставляет раздражения в сердце, не возбуждает бесполезного, грешного ропота. Свыкаясь с жизнью полей, привыкаешь ма-

ло-помалу отдавать все помыслы свои па волю провидения. Существование, порученное таким образом в исключительное распоряжение промысла, привычка покоряться постоянно его воле дают здесь, мне кажется, то душевное спокойствие, которое так напрасно ищешь в общественной жизни и городе, где все, более или менее, зависит от нас же самих или таких же, как мы, смертных. Жизнь течет здесь ровно, покойно. Когда живешь сознательно и честно, не знаешь, что значит «убивать время». День проходит незаметно.

Глазам не веришь, когда, подняв голову, видишь, что солнце давно обогнуло половину неба.

XII

Сильно также действует на душу ближайшее знакомство с бытом простого народа.

До сих пор, сколько я ни замечал, мне казалось всегда, что образованный класс общества всегда сочувствовал этому быту. Жизнь народа, была ли она изображена в книге или на полотне, всегда трогала и привлекала человека. Популярность таких художников, как, например, Леопольд Робер, успех многих сочинений, как древних, так и современных, только и объясняются этим тайным сочувствием к народу, к сельской жизни и всей наивной ее обстановке. Как, однако ж, после этого растолковать себе испуг, который все решительно обнаруживают при столкновении с самой действительностью?... Виновата ли эта действительность, если праздность, городская скука и неведение сельского быта внушают нам мечтания о каком-то небывалом, часто совершенно идиллическом мире?... Настроенные таким образом, мы, конечно, не находим в деревне того, чего искали. Разочарование ждет нас уже у самой околицы.

цы...

Сельская жизнь приучает смотреть на тот же предмет здраво, без преувеличения. Взгляд этот скоро примиряет с народом. Грубая его сторона находит свое оправдание в непросвещении и общих свойствах человеческой природы; она за ним и останется. Но зато какие сокровища добра и поэзии открывает другая сторона того же народа! Кого не удивит и вместе с тем не тронет слепая вера в провидение – этот конечный смысл всех философий, этот последний результат мудрствований и напряжений человеческого разума? Кого не тронут эти простодушно детские мысли и вместе с тем этот простой, здравый смысл, не стремящийся напрасно разгадывать тайны природы... нет! но принимающий дары ее с чувством робким, но радостным и исполненным величайшей благодарности? Кто не умилился душою при виде этого всегдашнего, ежедневного труда, начатого крестным знаменем и совершаемого терпеливо, безропотно?

Когда откроется перед вами картина широкого простора и на ней живой пример тяжко-

го труда и простой, первобытной жизни, все ваши идиллии, плод праздной фантазии, покажутся вам мелкими до ничтожества! Приглядитесь, и вы увидите, что поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение!...

XIII. ПРОГУЛКА

Наступало время, когда, после долгой зимы, поселянин снова выезжает в поле; когда, приладив соху в сошник, празднично лежавший столько времени и успевший покрыться ржавчиной, пахарь делает его чище серебра, взрывая согретую солнцем землю. Наступало время первой пахоты и первого посева. Я отправился в поле.

Вечер был чудесный, – такой же почти, как когда я, несколько дней тому назад, подъезжал к дому. Круглые облака опалового цвета, с белыми сверкающими краями, как бы выкованными из светлой жести, почти недвижно стояли в небе, открывая глубокие темно-голубые просветы. Окрестность наполнялась радостным сиянием. Листья окончательно распустились, и зелень блистала повсюду; у опушек рощ часто попадались фиалки и ландыши; бледно-розовые и белые колокольчики повилики, которая, с первым дуновением весеннего ветра, быстро переплетает старое жнивье, начинали пестрить поля и разливали в недвижном воздухе тонкий миндальный

запах. Солнце, несмотря на первые дни мая и пятый час вечера, пекло, как в июле. Но меня не пугали ни жар, ни дальность расстояния (поля, куда я направлялся, считаются у нас самыми отдаленными от жилья). Следовало пройти холм и рощу, которые отделяют меня от деревни, миновать самую деревню и перейти речку. После моста дорога пошла тотчас же в гору. Волнистые скаты горы, то круглые и поросшие кустарником, то спускающиеся мягкими склонами и покрытые местами березовыми и сосновыми лесочками, составляют правый бок зеленеющей живописной долины: на дне ее полукруглыми извилинами блестит речка. Вершины этих скатов позволяют обозревать всю окрестность; но прежде чем достигнешь такой высоты, приходится очень долго подыматься.

Я почувствовал наконец, что дорога стала как бы опускаться; вместе с этим воздух сделался подвижнее. Окрестность открылась как на ладони; деревня казалась подле самого моста; дом, холм и березовая рощица казались примыкавшими теперь к деревне. Все это: и дом, и сад, и деревня – принимало теперь вид

тех игрушек, где стебли мху изображают деревья, кусочки зеркала – речку. Овцы, рассыпанные по лугу, на дне долины, мелькали, как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали посреди длинных голубых теней, бросаемых облаками. Поля занимали всю вершину горы; она была срезана как ножом и представляла версты на две гладкую, как стол, поверхность. Горизонт замыкался только небом и, слева, опушками рощ, которые спускались в долину; облака на дальнем горизонте выходили как будто из земли.

По мере того, как я подвигался вперед, ветер делался заметнее. Иногда меня обдавало теплом, как из жерла раскаленной печки, и вместе с этим сильнее приносился тучный запах земли, которым так легко, однако ж, дышится. Крики «возле, возле!» – которыми пахари понукают лошадь, заставляя ее в то же время идти подле соседней борозды, доходили явственнее. Вскоре передо мной совсем открылось поле, облитое солнцем и оживленное пахарями, лошадьми, подводами, глухим жужжаньем насекомых и жаворонками, ко-

торые неумолкаемо заливались в небе.

XIV

Дорога вела в самую середину полей; на всем протяжении они перерезывались ровными десятинами. Пересохшие растения и корни, выхваченные зубьями сохи, местами покрывали межи; местами межи резко отделялись зеленью молоденькой травки от коричневой, только что вспаханной почвы, исполосованной свежими бороздами. Земляные испарения струились и переливались в воздухе, сообщая особенную, какую-то золотистую мягкость всем предметам, жарко облитым солнцем.

На углу почти каждой нивы стояла распряженная телега с овсом. В стороне, немного поодаль, виднелись пахари. Впереди всех шел всегда сеятель. То был большею частию человек преклонный, отец или дед. К концам веревки, перекинутой через плечо сеятеля, прикреплялось решето или кузов, наполненный зерном: выступая покойным, сдержанным шагом вперед, старик то и дело опускал руку в кузов, простирал ее потом по воздуху и разом выпускал зерна, которые рассыпались

всегда ровным полукругом. Постепенно удаляясь и исчезая в солнечном сиянии, сеятель уступал дорогу сыну или внуку, который управлял сохой и закрывал землю разбросанные зерна. За ним, звеня и подпрыгивая, тащилась борона с прицепившимися к ее зубьям комками косматых трав и корней. Лошадью правил обыкновенно мальчик. Иногда лошадь, если только она была старая, привычная к работе кобылка, шла сама собою: покорно следуя за хозяином, она изредка позволяла себе замедлять шаг, чтобы не смять жеребенка, который в нетерпении своем вытягивал шею под оглоблю и принимался сосать ее изо всей мочи.

Но этим еще не оканчивалось шествие: за каждой бороной летела в беспорядке стая галок, грачей, сизых и белых голубей. Они, казалось, совсем свыклись с людьми и лошадьми: то жадно припадая к земле, то взлетая на воздух, чтобы подраться за червячка, птицы следовали все время за бороною, нимало не пугаясь крика и свиста пахарей. Все поле усеяно было птицами.

XV

Несмотря, однако ж, на крик и свист пахарей, несмотря на звонкие голоса птиц и шумные их драки, несмотря на движение людей и лошадей, которые сновали взад и вперед по десятинам, — несмотря на щебетание мелких птичек, жужжание насекомых, фыркание лошадей, ржание жеребенка и пение жаворонка, этого дарового музыканта пахаря, несмотря на все это оживление и странное разнообразие голосов и звуков, все представлялось одним гармоническим целым. Широкий простор полей смягчал и сглаживал все звуки. Вся эта деятельная картина посева принимала вид чего-то мирного, какой-то кроткой радости и покоя!

Переходя от одной нивы к другой, я незаметно приблизился к опушке последней рощи. Тут оканчивалось поле. Последняя десятина склонилась даже несколько по скату, смотревшему на запад и на долину; защищенная от солнца рощею, которая обступала ее полукругом, она наполовину уже покрылась зубчатою тенью. Издали я увидел на ней

одинокого пахаря; он работал совершенно один: сам сеял, сам боронил, сам управлялся с сохой. Я удивился еще больше, когда подошел ближе. Пахарь принадлежал к довольно многочисленному семейству. Особенно странным казалось мне, что с ним не было его отца. Первый весенний сев пользуется в простонародье особым почетом: им преимущественно управляют старики. Прошлый еще год я видел старика на этой самой ниве и в это самое время. Одинокество молодого парня было для меня необъяснимо: вся семья его слыла в околотке одною из самых заботливых, деятельных в полевых работах. Я оставил межу, пошел полем и через несколько минут был подле пахаря.

XVI

Его звали Савельем. Это был парень еще молодой, лет тридцати, высокий, смуглый, с правильным, продолговатым лицом и кудрявыми русыми волосами. На вид он не казался очень плотным; но расстегнутый ворот его белой рубахи выказывал широкую, крепкую грудь, уже тронутую загаром на том месте, где застегивался ворот; плечи его и мускулы рук богатырски круглились, выпучивая складки рубашки; через плечо его висел на веревке большой кузов, полный зерна, но он держал его с таким видом, как будто не знал, что такое тяжесть. Коричневые глаза его глядели спокойно, но прямо, откровенно. Солнце садилось за спиною пахаря, и вся фигура его, окаймленная золотыми очертаниями, красиво рисовалась перед рощей, потопленной голубоватою тенью. Я подошел к нему в ту минуту, как он забросил вожжи на спину лошади и готовился сеять.

– Что ж это старика-то не видно? где он? – спросил я.

– Старик дома, лежит, – возразил пахарь,

делая шаг вперед.

– Что ж так?

– Все хворает, – сказал он.

Я осведомился, почему, наконец, брат не выехал в поле, но получил в ответ, что брат остался с больным отцом.

– Ему с самой весны все что-то нездоровится, – подхватил Савелий, – а в эти три дня наш старик совсем слег... Очень опасаемся: все думается, не встать ему; человек древний... долго ли? Вот уж третий день не ест, не пьет, слова не выговорит, все лежит, только что вот вздохнет иной раз. Господь знает что такое! – заключил он, отводя рукою кузов с зерном и потупляя голову.

Мне тотчас же представилось, что старика ударил паралич: старик был деятелен не по летам; с приходом весны деятельная природа его должна была, разумеется, воскреснуть. Вероятно, по обыкновению своему, он слишком горячо припал к работе; спеша уладить разом многочисленные дела, которые падают весною на простолюдина, он надорвал стариковские свои жилы: к этому, вероятно, примешалась также и кровь, разогретая усиленным

трудом, а также и весенним временем, она вдруг расходилась и сковала параличом его ослабевшие члены. Я начал подробно расспрашивать сына обо всем случившемся.

— Неделю две назад, — начал было Савелий, но остановился, сделал несколько шагов вперед и принялся хлопать в ладоши, чтобы отогнать стаю птиц, которая расположилась в телеге и взапуски клевала зерно, — недели две будет, — подхватил он, возвращаясь назад, — мы ничего такого не чаяли, как словно даже лучше стало, отлегло, стал поправляться... весне, что ли, очень уж обрадовался, господь знает!... Первый-то день, как встал, до самого до обеда ходил все по полю, смотрел озими; только на поясницу очень жаловался: «Поясница, говорит, добре очень одолела». Вечером прихожу я к нему на гумно, он и говорит мне: «Вот, говорит, Савелий, весна на дворе... — говорит так-то, а сам все кругом осматривается. — Весна, говорит, на дворе, наши пахать едут». Стал он тут на силу на свою жаловаться: «Сила, говорит, обманула меня... Знать уж, говорит, не придется мне нонче и пахать с вами...» — «Полно, говорю, батюшка! что напередки загадывать, бог милостив!» — «Нет, говорит, не пахать мне нонче с

вами... сердце мое чуёт!» Подошел после того к соломе, маленечко по стоял, лег на нее, да вдруг как заплачет! индо жаль стало!... Никогда с ним этого не было. Так, почитай пролежал до самого до вечера; насилу уговорили в избу пойти. На другой день опять как будто стало легче, опять в поле ушел...

– Как же вы его не удержали? – перебил я.

– Кто его удержит! хлопотлив очень, заботлив! такой-то завистливый в работе, другого такого не найдешь! Мы и то говорили ему, и матушка говорила – ничего не слушает. Пришел это он домой, суетится, хлопочет, сам до всего доходит, борону чинить зачал; а уж куды: у самого руки-то так и дрожат; ходит по всему двору, по всем углам... точно взаправду чуяло его сердце, словно со всем домом ходит прощается... даже мы с братом подивились... Нет, видно, уж не встать ему!... – добавил Савелий после минутного молчания.

Я спросил о том, что произошло три дня тому назад.

– И бог знает, как сказать, что такое! – произнес Савелий, заботливо потрянув головою, – пошел он к лошадям корму засыпать. Он ведь

у нас до лошадей-то охотник: никто и не подходит окромя его! Стали это я да брат его уговаривать; видим, чуть на ногах держится, и матушка к нам пристала. Опять не послушал: «Ничего, говорит, авось, как промнусь, легче будет!...» Ничего ведь с ним не сделаешь!... Вот матушка и говорит нам, мне да брату: «Что-то, говорит, долго старик нейдет; поглядите-ка сходите, где он...» Пошли мы с братом; глянули под навес, а он там и лежит. Стали спрашивать: слова не добьешься, лежит словно мертвый; так без языка домой и принесли. С тех самых пор не вставал, трое суток без языка лежит!...

– Надо было тотчас же кровь пустить, как же вы не подумали об этом? – воскликнул я, нимало не сомневаясь, что старик остался бы жив, если бы приняты были своевременно меры.

– Брат и то два раза ездил, – сказал Савелий, – два раза кровь отворяли – не пошла только! должно быть, сильно уж она в нем запечаталась! Так уж, знать, господь устави́л, что помереть ему надо! уж, видно, не топтать ему травы! – заключил он спокойным, но та-

ким грустным голосом, что у меня екнуло на сердце.

С последними словами Савелий приложил ладонь к глазам в виде зонтика и пристально посмотрел в поле. Так как в последнее время слова его часто сопровождались этим движением, я невольно взглянул в ту сторону. На дороге, которая вилась по полю, я увидел бабу. Она быстро подвигалась вперед, иногда даже принимались бежать; она махала руками и направлялась прямо к опушке рощи.

Савелий между тем поставил наземь короб с зерном. Он не отымал ладони от глаз. По мере того, как баба приближалась, я заметил, что в чертах пахаря проступало беспокойство, брови его судорожно изгибались, ноздри вздрагивали; весь он превращался, казалось, в зрение. Немного погодя я мог различать черты приближавшейся женщины; это была жена Савелья.

XVIII

Она остановилась еще раз, чтобы перевести дух, и пустилась бежать быстрее прежнего,

– Савелий! Савелий! домой ступай! скорее ступай домой! – крикнула она, когда была еще на дороге.

Лицо ее было красно и выражало все признаки сильнейшего замешательства; крупные капли пота текли по разгоревшимся щекам вместе с слезами, которыми вымочены были ее глаза и ресницы; беспорядок в ее чертах и одежде показывал беспорядок и смущение чувств.

– Что случилось? – спросили мы.

– Батюшка отходит!... ступай прощаться!... – проговорила она, прижимая руки к груди и едва переводя одышку.

Я взглянул на Савелья. Он стоял с понурою головою и тяжело опущенными руками; с минуту стоял он, как громом пораженный. Можно было думать, что, говоря со мною за несколько минут о смерти родителя, он не верил в душе, чтобы она пришла так скоро...

Нет такого очевидного горя, в котором человек не старался бы обмануть себя и не подкреплял бы себя надеждой. В простонародье существует даже поверье, что лучшее средство избавиться от несчастья заключается в том, что надо говорить о нем, как о предмете верном, несомненном. Меня поражало, однако ж, в пахаре его внешнее спокойствие: лицо его было скорее грустно-задумчиво, чем взволновано; только вздрагивающие веки и ноздри изменяли ему. Жена его между тем заламывала руки, била себя кулаком в грудь и разливалась-плакала.

– Ступай же скорей... совсем уж отходит... простишь поди... чего ты стоишь? – говорила она, дергая его за рукав. – все наши в избе давно... за дядей Карпом поехали... пойдем скорей... я подсоблю с лошадьми управиться! – заключила она, поспешно направляясь к лошадям, щипавшим траву на меже.

Савелий несколько секунд оставался недвижим; наконец он медленно, как бы стараясь привести себя в память, провел ладонью по волосам, тяжело вздохнул, перекрестился и пошел за женою.

В движениях его, когда он припрягал лошадь в подводу, не было заметно малейшей суетливости: он не забыл ни одного ремешка, ни одной мелочи, хотя мысли его, очевидно, были далеки от дела. Он точно не видел и не слышал жены: во все время он слова ей не сказал, даром что она не переставала тормозить его, суетилась без толку, плакала и говорила без умолку, вычисляя, в скорбных выражениях, добродетели умирающего. Наконец воз был увязан, лошади взнузданы, соха перекинута сошником кверху, и они оставили ниву. Я пошел за ними.

Поля начинали покрываться красноватым блеском: одни межи ярко освещались солнцем, глядевшим между рощами, и тени от роц захватывали иногда целые участки. Поля пустели. Кой-где на отдаленной пашне золотилось облако пыли, и из него выглядывала лошадь с сидевшим на ней пахарем, который возвращался с работы. Птицы несметными стаями кружились высоко в небе; но отставая постепенно друг от дружки, они опускались в рощи. Тени между тем быстрее бежали вперед, и вместе с тем с каждою минутой умолка-

ла шумная деятельность поля.

ХІХ. ПАХАРЬ

Я знал отца Савелия еще в детстве. Но не одни воспоминания прошлого привязывали меня к нему и заставляли сожалеть о нем: можно сказать без преувеличения, что вместе с ним весь околоток лишился одного из самых почтенных, самых достойных стариков своих.

Иван Анисимыч, или просто Анисимыч (так звали старика), принадлежал к числу тех трудолюбивых, деловых пахарей старого века, которые, к величайшему сожалению, переводятся год от году. Особенно редко теперь встречаются в наших местах. По мере того как развивался у нас фабричный промысел, возделывание полей приходило в упадок; челнок, красная рубаха и гармония заметно сменяли соху, балалайку и лапти; вместе с тем заметно также исчезал тип настоящего, коренного, первобытного пахаря. В последние дни один Анисимыч исключительно, можно сказать, жил своим полем. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Он продолжал пахать, боронить и сеять даже в то время, когда

фабрики стали приносить очевидные выгоды против пашни. Но не упрямство управляло им, не закоснелая привычка к старому прадедовскому ремеслу; не управляли им также расчет и тонкая сметливость: старик нимало не соображал о том, что не век же продлятся неурожайные годы, не век же миткалю будет цена высокая! В уме его было меньше, может быть, хитрости и пронырства, чем у любого тридцатилетнего фабричного щеголя. Наконец, мне сказывали, он считал даже грешным делом вперед загадывать: «что будет, то все в руце господя; словесами либо думой тут не поможешь», говорил он. Старик не расставался с полями потому только, кажется, что свыкся с ними и шибко к ним привязался. Мудреного нет: он начал привыкать к ним еще в то время, когда покойная мать, отправляясь на жниво, носила его туда в люльке. А это было очень давно: Анисимыч доживал уже теперь восьмой десяток.

Смыслию о смерти пахаря вся простая жизнь его, исполненная безропотного, неусыпного труда и детского простодушия, ясно представилась моему воображению; даже мелкие черты характера и ничтожные эпизоды его скромного существования, которые давным-давно были мною забыты, стали выясняться, как бы для того, чтобы в минуту смерти оставить о нем еще больше сожаления.

Меня особенно поражали в нем всегда необычайная кротость нрава, чистота помыслов и благочестие. Единственная вещь, быть может, которой не любил он, было миткалевое производство; но никогда, однако ж, не относился он с насмешкой, злобой или пренебрежением, когда речь заходила об этом предмете. Он, помнится, покручивал только седую головою и говорил: «Худое ремесло то, когда ничего не делаешь! Коли человек кормится фабриками, стало, и в них прок есть. Не хороша только жизнь фабричная – вот что похвалить нельзя; не хороши эти гулянки, да

кабаки, да пищалки эти (так называл он гармонии). Что денег-то дают хозяева, – присовокуплял он обыкновенно, – за этим гнаться нечего: деньги только в соблазн вводят. Нашему брату денег не надобно; был бы хлеб святой. Есть хлеб, ни в чем, значит, недостатка не будет, потому хлеб всем надобен, всякому то есть человеку; на что хочешь можно променять его!... По-моему, пахота самое, выходит, первое дело! – заключал всегда старик, редко пропускавший случай поговорить о ремесле своем, когда был в духе, и стараясь при этом выставлять все его выгоды. – Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть ремесло, уж это все, значит, живешь при нем, как словно не в удовольствии: фабриканту ли какому или хозяину работаешь, им, примерно, и отвечать должон. Люди-то неравны – вот что! И хорошо сделаешь, всеми силами стараешься, да не угодишь; ну, сердце-то и кипит в тебе, все не в удовольствии... Ну, а с пахотой этого не бывает: сам себе работаешь, сам себе и отвечаешь: старался – значит, тебе же хорошо; поленился, не родилось ничего – сам, выходит, на себя и пеняй!... И живешь

покойнее, потому, выходит, серчать не на кого: весь ты, как есть, во власти господней!»

Анисимыч доказывал на деле, как мало имел пристрастия к денежному барышу. Когда заводился лишний грош, он спешил прирвануть лишней земли, употреблял его на покупку какой-нибудь снасти или на поправку домашней, хозяйственной принадлежности. Во всем околотке дети, моложе даже восьми лет, занимались размоткою бумаги и доставали этой работой «на соль», как выражались отцы их. Анисимыч слышать не хотел об этом. Ребятишки его пользовались полной свободой бегать по полям и рощам. На четырнадцатом году, однако ж, старший брат Савелья ловко уже управлял сохою и никогда не портил борозды.

И не расстраивался как-то Анисимыч, несмотря на неурожайные годы, несмотря на добровольное лишение выгод, которые могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгий хозяйственный порядок, живя просто, неприхотливо, он ни в чем никогда не нуждался; он находил даже способ быть запасливым. Часто даже доводилось зажиточным крестьянам занимать у него муку и зёрна на посев. В этих случаях, надо заметить, старик оказывался всегда очень «крепким». Человек беспутный, не» трезвый, не выманил бы у него куска льду зимою. Он не давал займы без разбора; но когда случалось ссужать соседа, то делал это, никогда не требуя вознаграждения. Благодаря промышленному состоянию края, в редкой деревне не сыщешь своего рода ростовщика. Мужик, застигнутый врасплох нуждою, берет у него овес, соль и деньги, с тем чтобы, по истечении условного срока, отдать в полтора раза больше. У нас, следовательно, простолюдин знаком очень хорошо с процентами. Старому пахарю часто

предлагали отдать долг с залишком, лишь бы только смягчить его: он всегда отказывался. Ему выставляли на вид, что если б он брал лишки с должников, то в скором бы времени обогатился; но такие речи встречали всякий раз в пахаре самое полное равнодушие: он слушал их, как будто они вовсе не к нему относились. Ответ его был постоянно один и тот же:

– Я денег не даю, – говорил он, – денег у меня нет; я хлеб даю... коли есть; хлеб – дар божий!... Господь с нас процентов не берет, стало, и нам грех, не приходится... Хлеб – дело святое – не то что деньги; деньги от человека! он их выдумал, он их и делает...

Анисимыч слыл мастаком во всяком хозяйственном деле. Знание его, соединенное с услужливостью и необыкновенною терпимостью нрава, было причиной, что часто также прибегали к нему с просьбами другого рода. К нему ходили за советом. Встречалась ли соседу надобность купить корову и лошадь, Анисимыч должен был прежде осмотреть животное: приговор старика решал тотчас же дело. Требовалось соорудить новую снасть, купить

топливо на зиму или лесу на избу, опять обращались к его опытности. Во всем, что касалось полевых работ, Анисимыча слушали, как оракула. Глядя на то, что он делал, делали и другие: он выезжал сеять – вся вотчина сеяла, он не косил – никто не брал косы, хотя бы даже минули Петровки.

– Анисимыч рассаду сажать выехал: стало, время! – говорили бабы.

И точно: лучше старика никто не мог знать о времени жнитва и посева, о свойствах земли и зерен. Более шестидесяти лет прожил он в полях; постепенно, год за год, сроднялся он теснее с почвой. В этом сродстве его с полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которые пахали его отец, дед и прадед, обуславливали всю его жизнь: от них зависело благосостояние детей его и целого семейства; он возлагал на них все свои надежды и всегда с жаркою молитвой поручал их богу. Сколько забот и попечений они ему стоили, сколько тревог и радостей принесли они ему, сколько пота пролил он на них в эти шестьдесят лет своей трудовой жизни!

Но и они как будто понимали его; между ними установилось как словно тайное сочувствие. «Эх! – скажет, бывало, старик, оглядывая летом свое поле, – вот этот осминничек как славно обманул меня! Мало ли положил я в тебя зерен, – не жалел, кажется! и вспахал лучше быть нельзя! А колос-то жиденький, соломка тощая!... Обманул ты меня...» Прохо-

дит лето, жатва скошена, уж журавли летят в теплые стороны. Анисимыч снова в поле, снова идет к осминнику, который не оправдал его надежды. Старик крестится, с удвоенным старанием бороздит его вдоль и поперек, раза два лишних боронит и вспахивает, прилаживает лишний камень на борону. «Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! – скажет он, обтирая рукавом крупные капли пота, – так запахано, комушка нет! как пух землица! Славная будет постелька для зернышка!...» И в самом деле на другое лето старик не натешится, глядя на свой осминник, покрытый из края в край частым, высоким стеблем, который плавно колышется на ветре, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него целым миром, в котором жил он всеми своими помыслами, всею душою. Мысли его редко переносились за предел зеленеющих межей, окружавших его поле.

Но и в этом тесном горизонте научился он многому. Премудрость божия не так же ли бесконечно поразительна в стебле травы, как и в громадных явлениях природы! Довольно было старому пахарю прожить свой век под этим узеньким клочком неба, между этими бедными холмами и рощами, чтобы приобрести опыт и значение, которые составляют мудрость сельского жителя. Не этот ли опыт и значение помогали старику поддерживать благосостояние семьи и тех окружающих, которые хотели слушать его советов?

– А что, Анисимыч, не пора ли овес сеять? – вымолвит сосед, выходя весною за ворота, чтобы погреться на солнце. – Вишь, теплынь какая стала, даже пар от земли пошел!

– Нет, погоди, – скажет старый пахарь, – ходил я нонче в поле, глядел: лист что-то мал на дубках, не совсем еще развернулся, ждать надо холоду, стало быть, может статься, еще будет и сиверка: овес этого не любит! Сей его, как лист дубовый развернется в заячье ухо: тогда и сей, потому, значит, земля тогда гото-

ва, за свой род принялась.

У него на все были свои приметы. Они, надо полагать, постоянно оправдывались в продолжение целых шестидесяти лет: он слепо им верил! Раз, помнится мне, всю весну лили непрерывно дожди; земля в полях размокла, как кисель; кругом стали опасаться за корень ярового хлеба. Не унывал один Анисимыч. А между тем ему более, чем всякому, следовало бы тревожиться: поле составляло все его богатство; но он оставался покойным: он утвердительно говорил, что лето будет вёдреное и все высушит, все поправит. Другого объяснения не было, как то, что в день апостола Якова (30 апреля) солнце взошло в ясном, безоблачном небе, и весь день не видно было ни одной тучки. Старик присоединял к этому еще другую примету: он наблюдал вскрытие реки; река вскрылась рано и дружно, а, по словам его, это служило несомненным знаком благополучного лета. Предсказание его оправдалось как нельзя лучше. Основываясь на приметах, он почти всегда верно угадывал о злой и счастливой судьбе, которая ожидала поселанина в поле. Помня день, когда начал

завязываться первый колос, он безошибочно высчитывал день в день все периоды произрастания хлеба и всегда верно определял срок жатвы.

– Что ты, Анисимыч, на луг-то уставился? – шутливо замечал сосед. – Лошадей, что ли, высматриваешь?

– Нет, на гусей гляжу.

– А что?

– Да все что-то на одну ногу становятся: надо быть, скоро снежок выпадет!... Вон также и журавли: вишь, как низко летят. По всему сдается, рано нонче зима станет.

Иной раз радостно ожидал он дружную, теплую весну. «Был я нонче в поле, – говорил он, ни одного грача не видно; а уж давно прилетели! Прямо, значит, на гнезда на свои сели: тепло, значит, чуют, торопятся детей выводить». Стоит иной раз засуха, вся деревня нос повесила; Анисимыч ходит, бывало, всех ободряет. Полагаясь на какую-нибудь приметку, он весело поглядывает на нивы, палимые солнцем. «О чем вы? – скажет, бывало, – и дождик, и ветры, и солнце, – все это в руке божией. Он знает, что делает, у него все сосчи-

тано, все дни и весь год уравнен: не пропадет зря ни единой капельки во весь год, не колыхнет ветер стебля, коли не ко времени. Он знает лучше, что надобно...» В истинно скорбное время, когда солнце спалило хлеб, или град скосил дотла дозревающую рожь, он никогда не отчаивался, никогда не падал духом: им овладевало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствие. «Тут ничем не поможешь, – были всегдашние слова его, – надо бога просить, чтобы на будущее время помиловал...» И снова принимался он с прежней доверенностью делать свои наблюдения.

Одним словом, приметы эти наполняли жизнь его, они управляли каждым его действием: не брался он ни за какое дело, не посоветовавшись сначала с знамениями, которые природа, как нежная мать, заботливо рассыпает по лицу своему в назидание человеку, отдавшему ей свое существование. Не голос ли это божий слышится нам в этих знамениях? не потому ли и жизнь старого пахаря протекала так беззаботно и мирно, что так покорно слушался он этого таинственного голоса?...

XXIV

Нет, как бы сильно ни чувствовали мы природу, она никогда не может говорить нам столько, сколько скажет пахарю. Так уж судьба поставила нас, что между природою и нами нет и быть не может близкой, родственной связи. Мы только мимоходом восхищаемся ее красотами или вдаемся по поводу ее явлений в сухие теории и сухие исследования: в обоих случаях не является ли она перед нами книгой, в которой мы любимся картинками но не разбираем текста?

Простолюдина мало трогают красоты ее: он не размышляет, как мы, о ее таинствах (размышлять, судить о чем-нибудь, не значит ли отрешать уже себя некоторым образом от обсуждаемого предмета, считать себя если не выше его, то хотя исключением?). Пахарь сродняется с природой от колыбели; он покорятся без размышления ее законам, он живет ее жизнью; его судьба, радости и горести – все в руках ее. И природа, как будто сознавая детское бессилие пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросает к ногам своим

таинственные свои покровы; она открывает ему грудь свою и знакомит его с собою. Величаво-молчаливая с нами, гордыми мира сего, она говорит пахарю и распускающимся листом, и восходом солнца, говорит ему мерцанием звезд, течением ветра, полетом птиц и тысячею-тысячею других голосов, которые для нас, гордых мира сего, останутся навсегда языком непонятным.

Тому, кого занимали только расчеты по поводу сельского хозяйства и сельской жизни, тому никогда не понять поэзии, которая заключена в этом родстве пахаря с землей и природой. Есть вещи, светлая сторона которых открывается только сердцу. Если находятся люди, которые чувствуют эту поэзию, стало быть, она существует; но почему не предположить, что душе пахаря сознательно доступна хоть одна сторона ее? Человек, который не может ни дать отчета в своих впечатлениях, ни выразить их словами, конечно, кажется беднее одаренным того, кто обладает такими способностями; по следует ли заключать, что он ничего не чувствует? Почему знать, о чем думает пахарь, когда, выйдя в по-

ле на заре ясного весеннего утра, оглядывает он свои нивы? Неужели улыбка на лице его и радость на сердце служат только выражением грубого чувства и уверенности в будущем барыше и выгодах? Отчего же, глядя на нивы свои, не может он припоминать и осенний вечер, в который засеивал их, и теплую молитву, с которой поручал их тогда богу, и семейную радость, когда омыло их первым дождеком, и не стократ счастливые дни, когда увидел он, что эти голые поля, поднятые его рукою, начинали покрываться частою, сочною зеленью?... Что же такое поэзия, если не живое представление мирных минувших радостен?...

Анисимыч никогда не был ни старостой, ни даже сотским; он, как особенной милости, просил всегда, чтоб избавили его от всякой почетной должности. При всем том его почитали и слушали больше даже, чем начальников, которые избирались миром.

В деревенском быту, несмотря на внешние грубые формы, нравственные качества так же хорошо взвешиваются, как и в образованном сословии; влияние нравственной личности так же здесь заметно и сильно, как и там. Здесь точно так же взвешены права на уважение каждого лица и семейства. В каждом углу рассчитывают поступки каждого, разбирают, кто с кем в родстве, почему лучше отдать дочь замуж в такой-то дом или взять такую-то для сына, и все это не в одном денежном смысле. Общественное мнение господствует над всеми и управляет поступками каждого более, чем думают.

Не было примера, чтобы мирская сходка обходилась без Анисимыча. А между тем он стоял в каком-то исключительном положе-

нии, как пахарь в фабричной деревне, не был ни особенно богат, ни силен, ни криклив; но его слушали, и совет его служил всегда последним, решительным приговором. То же самое было во всех крайних, запутанных делах и даже в семейных распрях: что скажет, бывало, старик, то и свято. Мне ясно представляется теперь один случай.

Делились два брата. Всякий, кто жил в деревне, знает, с какими трудностями сопряжены дележи такого рода. Как разделить, например, одну избу между двумя человеками? Не разрубить же ее пополам, в самом деле! Как уравнивать ценность лошади с несколькими овцами или ценность хозяйственных орудий с домашнею утварью? Дележ между братьями не подвигался к концу, несмотря на деятельное участие мира и конторы. «Позвать разве Анисимыча: что он скажет!» – заметил кто-то. Братья и все присутствующие выразили согласие. Послали за стариком, и немного погодя он явился. Сначала он долго отговаривался, говорил, что, что бы ни сказал он, один из братьев все-таки останется не в удовольствии, и проч.; но к нему приступили реши-

тельное и потребовали ответа. «Ну, во имя отца и сына и святого духа!» – сказал он тогда, набожно осеняя себя крестным знамением. (Он объяснил потом движение это тем, что «просил господу помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человеческому»). Затем он решил спор таким образом: все хозяйство и весь скот следовало разделить пополам, как «приобретенное»; но хлеб – дар божий! бог печется о каждом человеке и посылает хлеба каждому сколько нужно; хлеб надо делить, следовательно, по душам; у одного брата три души, у другого восемь: так последнему больше надо.

Так и сделали.

XXVI

В жизни пахаря, которая протекала так же спокойно и тихо, как песок стеклянных часов, было, однако ж, одно сильное потрясение. На семью его пала рекрутская очередь. Его не предупредили в этом, слова не сказали: думали сделать лучше. Но раз ночью пришли к нему в избу и захватили одного из сыновей его, первого, который попался. (Говоря потом об этом, он сказывал, что сердце его в эту минуту сделалось вдруг тяжелым, как пуд, и словно окаменело.) Но случай этот его поразило так сильно только по своей неожиданности. Придя в себя, старик побежал в контору и просил, чтобы ему самому предоставили выбор детей. На другой день он отвез всех трех сыновей в город.

До сих пор еще многим лицам, присутствовавшим на ставке, памятна сцена, когда после произнесения очередного имени в дверях присутствия явился вдруг седой, шестидесятилетний старик. «Ваше благородие! – сказал он, обращаясь ко всем членам присутствия, – очередь за моею семьею. У меня три сына...

пытался – не могу выбрать: все равно дороги!... Сблаговолите позвать всех трех... выберите уж лучше сами!...» В комнату вошли три парня, один краше другого. Двое стали по правую руку отца, один по левую. Старик обнял поочередно всех трех и произнес, положив им сперва руку на голову: «Все милы!., все дороги!., все хороши!...» Тут дыхание как бы стеснилось в груди его; он остановился, покачал головою, тяжело вздохнул и вдруг залился слезами. Присутствующие, тронутые его положением, стали его успокаивать. Он попросил позволения кинуть жребий. Вынув из кошелька три медные гроша, он подал их детям, внимательно потом осмотрел каждый грош, положил на каждом знак зубами и велел бросить их в шапку.

«Вам, ваше благородие, – сказал он, обратясь опять ко всем, – вам, я вижу... вы о них также жалеете... прикажите уж лучше позвать какого ни на есть человека... который не видал меня с ними... Пускай уж лучше он жребий вынет...» Позвали солдата... Старик сказал ему: «Как вынешь жеребий, никому не показывай... мне отдай...» Жеребий вынут.

Старик взял грош у солдата, отошел к окну, взглянул на него, дрогнул, но тотчас же оправился, перекрестился и возвратился к детям. «Вася, – вымолвил он, обратись к младшему, – Вася... голубчик мой! подойди ко мае...» – Он снова положил ему руку на голову, с минуту глядел на него молча и наконец произнес: «Ты был... да, был ты мне хорошим сыном... всегда хорош был... будь же хорошим солдатом царю нашему...» Он обнял его, благословил и, закрыв ладонью лицо, пошел к двери, плача каким-то детским плачем.

XXVII. КОНЧИНА

Припоминая прошлое и стараясь представить себе как можно яснее почтенную личность старого пахаря, я незаметно миновал поле. Я даже удивился, когда увидел себя вместе с Савельем и его женою на скате горы, откуда открывались деревни и окрестность.

Солнце приближалось уже к горизонту. Долина наполнялась тенью; там только, где местность в долине несколько подымалась или где возвышалась роца, выступали яркие пятна света, которые казались тем ослепительнее, что их окружал голубоватый сумрак. Верхушки одиноких деревьев, разбросанных кое-где по долине, принимали издали вид золотых островков, плавающих в синем море. Посреди пестрой смеси света и тени особенно сильно освещалась улица; лучи солнца прямо били на один бок ее, превращая в огонь окна избышек: в каждой избе топилась как будто печь или пылал костер. Я уже сказал, что с этого ската деревня виднелась как на ладони. Я заметил с первого взгляда, что там происходило необыкновенное оживление: черные

точки поминутно перебежали на улицу; длинные тени, бегавшие заодно с людьми, обманчиво усиливали движение. – Скорей... скорей!... – вымолвила жена Савелья, не отрывая глаз от деревни.

Она хотела еще что-то прибавить, но выразительно указала вперед рукою и побежала к мосту. Савелий не замечал ни движения жены, ни ее голоса, ни того даже, кажется, что она нас оставила. Голова его была по-прежнему опущена на грудь; глаза, с дрожащими над ними бровями, притупленно смотрели на землю. В задумчивой фигуре его, как словно машинально идущей по дороге, заметно было присутствие одной только мысли, которая отталкивала все, что до нее ни касалось. Он ускорял, однако ж, шаг по мере приближения к цели.

Мы вошли в деревню в ту самую минуту, как в околицу вгоняли стадо. Оно бежало к нам прямо навстречу и еще больше усиливало движение, которое я заметил издали. Бабы, ребята и девчонки поминутно перебежали нам дорогу: их точно держали до сих пор заперти и вдруг разом всех выпустили. Все стре-

мились к освещенной половине деревни и направлялись к одной избе, у ворот которой стояла уже порядочная толпа. Рев, бляенье, топот, крики старух, которые загоняли коров и овец, не позволяли мне расслышать говор народа, толпившегося у двери избы; раз только с той стороны послышался мне как будто глухой сдавленный вопль нескольких голов.

– Савелий! брось лошадей-то! старик умирает! – быстро проговорила какая-то баба и еще быстрее пронеслась мимо.

Савелий постепенно ускорял шаг. Из избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать слова и узнавать голоса. В толпе, теснившейся у избы, все горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились к воротам, все смолкли и обратили любопытные глаза на Савелья.

Под навесом ворот жались полдюжины овец и две коровы; в общей суматохе они были забыты хозяевами. Савелий остановил лошадей, сделал шаг, с очевидным намерением отворить ворота, снова вернулся к лошадям,

начал было их разнуздывать, но отчаянный вопль, вырвавшийся из избы, отнял, видно, у него последнюю твердость: руки его опустились, он тоскливо замотал головою и пошел к низенькой боковой двери, которая вела в сени. В толпе с особенною какою-то торопливостью дали ему дорогу.

XXVIII

Мне никогда не случалось присутствовать при последних минутах умирающего. Смерть действует особенным страхом, когда дело идет о знакомом человеке. Мимо чувства сожаления, возбуждаемого сознанием вечной разлуки, душа в этих случаях невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханным трупом, вчера еще говорило с вами; я слышал звук его голоса, он и теперь еще явственно как будто раздается в ушах моих; я делил с ним мысли и чувства, видел, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры, – и вдруг все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда, и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко...

Я окончательно смутился, войдя в сени, битком набитые плачущим народом. Посреди протяжных причитаний выходил иногда вопль, который, как ножом, надрезывал сердце. В избе было еще теснее: не было решительно возможности подвигаться вперед. Бабы с грудными младенцами на руках стояли даже на лавках; печь и полати усеяны были

головами, все жались и тискались. Вопль был так силен, что с трудом можно было заставить понять себя, говоря громко на ухо. В толпе то и дело попадались распухнувшие красные лица, с зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, из которых вырывались пронзительные крики. Большая часть баб стояла крепко обнявшись: положив голову на плечо друг дружке, они мерно раскачивались под такт унылого, размеренного голошенья.

Мне тогда не был еще знаком обычай нашего народа спешить наполнить избу. умирающего и выразить скорбными возгласами то уважение, которое имели к нему при жизни. В первую минуту, признаюсь, мною овладела даже досада. «Чего им здесь надо, – подумал я, – чего они не видали? Человек не успел умереть, и вот все набились в избу и кричат во все голоса, что он умер! Ему и без того, быть может, тяжело расстаться с жизнью, а они не перестают напоминать ему о прожитом счастье, об осиротелом семействе!» Но почти в ту же секунду мне пришла следующая мысль: поспешность эта выразить свое отчаяние, поспешность, часто преждевремен-

ная и с первого взгляда возмутительная, не показывает ли, как мало вообще народ избран надеждой? Он не привык обманывать себя успокоительными мечтаниями; он отдается своему горю без размышления, и не потому ли кажется оно ему неизбежным. Я окончательно примирился с воплем, раздававшимся подле умирающего, когда вспомнил, сколько было у него близких и родственников: они, конечно, не могли достаточно оплакать его кончину.

До сих пор, сколько я ни старался пробраться вперед, передо мной мелькали только головы, и впереди виднелся темный угол избы, в котором тускло мерцало пламя желтой восковой свечи, прилепленной к образу. Прежде всего я различил колени умирающего. Меня с ног до головы обдало холодом: сам не знаю отчего, но мне не так тягостно было увидеть его самого, как увидеть эти недвижимые, выступающие острым углом колени. В ногах пахаря сидела жена его, древняя старуха, как и он сам. Обняв руками шеи двух замужних дочерей, которые рыдали, как безумные, она бессильно свешивала голову то к од-

ной на плечо, то к другой. Платок, покрывавший ей голову, бросал густую тень на лицо ее; изредка слабый стон вырывался из впалой груди старушки. Она сама как будто умирала. Подле стоял старший сын, такой же видный мужчина, как Савелий, но только смуглее его. Прислонясь правым локтем в стену, закрыв правую ладонью лицо, он был недвижим, и только тяжкие вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелий. Он стоял на коленях; кудрявая голова его лежала на обнаженной руке, вытянутой вдоль соседней лавки. Все убивались над стариком, как над бесчувственным трупом покойника; а между тем предмет их скорби боролся еще с жизнью; глаза его были закрыты, но грудь время от времени высоко еще подымалась.

XXIX

Он лежал под образами, на лавке, устланной соломой. Голова его покоилась на снопе овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались в беспорядке, как у человека, который судорожно, отчаянно борется со смертью: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавых щек, покрытых мелкими складками и тем смуглым, черствым отливом, который накладывает жизнь, проведенная на воздухе во всякое время года: в холод, зной, дождь и ветер.

Я стоял в двух шагах и мог различить мельчайшие черты почтенного лица его. Оно поражало своим контрастом с лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдельной скорби и безотрадного отчаяния виднелось на последних, столько же спокойствия написано было в чертах умирающего старца; нет, никогда потом, нигде и никогда не встречал я такого тихого, такого кроткого выражения! Ясно, между тем, видно было, что смерть не отняла еще у него полного сознания: мысль как бы просвечивала сквозь закрытые

веки его и озаряла черты его; он должен был слышать все, что вокруг происходило: слышал вопли родных, слышал страшные слова прощанья, слышал раздиравшие сердца возгласы двух дочерей, умолявших его не покидать их, пожить еще с ними; слышал глухой плач Савелья и горькие всхлипыванья старшего сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его миру. Ни одна морщинка не показывала душевной, внутренней тоски. Он как будто засыпал в поле после трудового утра и, отходя постепенно ко сну, сладко прислушивался к пению жаворонков, которые заливались в вышине небесной...

«Так вот смерть!» – думал я, пристально всматриваясь в лицо его. Я видел смерть в первый раз; но мне страшнее было слушать вопли, страшнее был вид живых лиц, обезображенных отчаянием, чем вид самой смерти. Страшный, ужасающий образ, который представлялся моему воображению всякий раз, когда я думал прежде о смерти, исчезал постепенно, по мере того, как я всматривался в кроткое, спокойное лицо пахаря. Мне стало ка-

заться, что в том трепетном мерцании, которое разливала свечка над изголовьем умирающего, стоит не страшный, ужасающий образ – нет! но ясно улыбающийся ангел, который ласково простирал вперед руки и тихо двигал белыми лучезарными крылами...

В одну из тех минут, как я напрягал зрение, чтобы уловить на лице пахаря отражение окружающей его скорби, в дальней части избы нежданно стихли вопли. Послышалась давка, и несколько женских голосов прокричало: «Пропустите, касатики! пропустите дедушку Карпа... дайте пройти! проститься хочет!...» Я посторонился вместе с другими и дал место седому, низенькому старичку.

Это был родной брат пахаря. Хотя между летами того и другого считался только год разницы, но Карп смотрел уже совершенной развалиной. Он давно оставил полевою работу, перемогался со дня на день и в последнее время проводил жизнь на печке, изредка выходя на завалинку, чтобы погреться на солнце. Крошечное лицо его изрыто было морщинками; каждый трудовой день провел как словно на нем черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокам редкие клочки волос, ходила из стороны в сторону. Он, очевидно, дрожал не от волнения, но от дряхлости.

В тусклых глазах, устремленных на брата, не было пока заметно замешательства. Он подошел ближе, медленно перекрестился и сказал:

– Эх, Иван, Иван! чаял я, поживешь еще с нами...

Рано, Иван, ты нас покидаешь!

Страшный вопль двух дочерей умирающего перебил старика. Они нежданно оторвались от матери, которая бессильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца. Савелий и старший брат его громко зарыдали. Тихая мысль, освещавшая лицо умирающего, стала как бы потухать. В чертах его, дышавших спокойствием, изобразилось вдруг тяжкое томление. Голоса родных точно в первый раз нашли дорогу в его сердце и возвратили его на минуту к действительному миру. Глаза его остались, однако ж, закрытыми и грудь по-прежнему подымалась ровно и медленно.

– Бабы... полно вам!... – проговорил Карп, притро-гиваясь к племянницам. – Савелий, Петр, вы бы их удержали!., ему и без того жаль с вами расставаться... пуще воем-то ду-

шу мутят... оставили бы... будет еще время убиваться-то!... – Петр и Савелий подняли се-стер и отошли к ногам отца. Лицо умирающе-го постепенно вытягивалось и принимало грустное выражение. Грудь его приподыма-лась теперь едва заметно.

– Эх, брат Иван, – произнес неожиданно Карп, и, я заметил, голос старика задрожал сильнее, – в какое время ты нас покидаешь!... Встань, Иван!... Погляди-ка поди, весна на дворе; наши ведь все пахать поехали...

При этом каждая черта умирающего на-полнилась вдруг выражением страшной тос-ки. Веки его, начинавшие уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись в углах и пропу-стили две крупные слезы. Они медленно по-текли по морщинам и, видимо, казалось, за-стывали на холодевших щеках его... Светлые струи ручья многие годы оживляли долину. Тихо журчали они, отражая и небо, и зелень, и мирные окрестные виды; но время открыло скважину в русле: ручей заметно мельчает; тускней и тускней делается его поверхность, и наконец он вовсе пропадает, оставив тем-ное земляное дно, в котором не блеснет уже

никогда луч солнца!

Так и жизнь невидимым путем своим покидала старого пахаря. Грудь его подымалась все реже и реже; мертвенная бледность покрывала черты его. До сих пор душа все еще как бы носилась над чертою, разделяющею земную жизнь от загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабее и слабее, прислушивалась к воплям и крикам; но вот стала она переходить роковую черту... Лицо старца снова стало приобретать спокойствие и ясность, и, казалось мне, в трепетном мерцаний, разливавшемся над изголовьем пахаря, снова являлся улыбающийся ангел, который ласково простирал к нему руку и тихо двигал белыми лучезарными крыльями...

...

Прошло два дня. Я шел уже отдать последний долг пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала неба. Какой-то мягкий, янтарный блеск разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаенного уголка, куда бы не проникал луч солнца; а между тем ранний час утра поддерживал прохладу в воздухе и сообщал свежесть полям, холмам и рощам. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изредка под тем или другим деревом раздавался шорох и слышалось, как била по листьям катившаяся капля росы. Но как звонко зато распевали птицы, каким жужжаньем, писком и чиликаньем наполнялся недвижный воздух! Все, что имело только крылья, собралось как словно праздновать в это утро. Кузнечики, как искры, сыпались под ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обеим сторонам дороги, которая вела из дома в деревню.

Но зрелище, ожидавшее меня там, сильно

противоречило веселой, улыбающейся картине утра. Я вошел в деревню, когда совершался вынос. Я увидел густую толпу народа и над нею, несколько дальше, белую верхушку гроба, которая сияла на солнце и медленно раскачивалась из стороны в сторону, как бы посылая прощальные поклоны избам и зеленеющим нивам. Погребальное шествие, сопровождаемое толпою и подводами, скрип которых заглушался рыданиями сидевших в них баб, стало опускаться к лугу. На нем изгибалась дорога, которая вела к приходу.

Достигнув точки, где начинался скат к лугу, я встретился с одним из самых древних стариков деревни. У пего, как видно, не достало сил идти дальше за гробом; он провожал его глазами и крестился. – Прощай, Анисимыч! Прощай... Скоро все там будем! – сказал он, махнул рукою и медленно побрел к избам.

Прежде чем подняться в гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествие остановилось. На этом месте, по обеим сторонам дороги, кругом покрытой мелким кустарником, возвышаются два столетних тополя: они обозначают наши границы с соседскими зем-

лями. Здесь обыкновенно в последний раз прощаются с покойниками. Вопль и голошение, заглушаемые говором, раздались сильнее. Народ тесно жался вокруг гроба, опущенного на землю. Каждый хотел проститься с пахарем. Я подошел ближе. Но мне не удалось уже видеть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись одни смуглые, загоревшие руки его. Каждый из присутствовавших подходил к гробу, кланялся в землю и целовал эти смуглые, честные пальцы, которые в продолжение семидесяти лет складывались только для труда и для крестного знамения. Наконец обряд прощанья кончился. Гроб, приподнятый на плечи носильщиков, снова озарился солнцем. Родственники, истомленные продолжительными слезами и скорбью, усажены были на подводы. Мы стали подыматься в гору, постепенно удаляясь от толпы, которая стояла у тополей и провожала нас глазами до тех пор, пока гроб не совершенно скрылся из виду.

К полудню я возвращался один по той же дороге. Окрестность так же радостно сияла; птицы так же весело пели. Но веселость, царствующая иногда в природе, тем именно разнится от веселости города, что она не отуманивает головы, не развлекает мыслей. Напротив, ясность, вас окружающая, как бы передается вашей душе и вашим мыслям.

Когда я пошел к двум тополям, свидетелям прощального обряда, там давно уже никого не было. Под листьями, палимыми солнцем, жужжали только насекомые; луга, холмы и рощи погружены были в сонливое молчание жаркого майского полудня. Пройдя еще несколько шагов, я увидел в кустах, растущих вправо от дороги, пук соломы и на нем черепки глиняной кубышки. То были последние вещественные предметы, которые напоминали усопшего. Клок соломы служил ему последним ложем; из кубышки черпали воду, которою обмыли его похолодевшее тело.

Я не знаю, что лежит в основании обычая оставлять эти предметы на дороге, по кото-

рой в последний раз проносили покойника; в обычае этом есть, однако ж, что-то трогательное... Грустно настроенный посреди сияющей природы, я долго стоял под тополями.

«Вот, – думал я, глядя на черепки и солому (эти последние и уж точно ничтожные, бранные памятники столь долгой жизни), – вот и месяца даже не переживут они: ветер разнесет солому, прохожий растопчет черепки, и никакого даже видимого следа не останется от старого пахаря!...»

Но что до этого! Стоит ли думать об этих бранных, вещественных, грубых напоминаниях! Не оставил ли пахарь другого, более прочного воспоминания!... Существует еще что-то лучше памяти, основанной только на вещественных знаках. Есть память другого рода: она основана на душевных свойствах, на нравственных заслугах оплакиваемого человека. Такая память – высшая поэзия нашего нравственного мира, и старый пахарь вполне ее заслужил. Кроткий, смиренный образ его – оболочка души прекрасной и чистой – останется, навсегда останется окруженный любовью и уважением тех, кто знал его, жил с ним

и умел понимать его. Не лучшая ли это награда, и не самый ли это яркий, прочный след, который можно после себя оставить?...

Да, старый пахарь, несмотря на то, что жизнь его казалась нам, гордым мира сего, такою ничтожною и мелкой, старый пахарь заслуживал такую память! Благочестивая жизнь его прошла в труде непрерывном, неусыпном. Он, пока жил, сделал все, что мог, и сделал все, что должен был сделать! Нет нужды и не место разбирать здесь его общественное положение, смиренную сферу его деятельности и скромные результаты этой деятельности. Нравственный смысл нашего рассказа исключает понятие о личности: здесь дело идет собственно о «человеке». Целью нашей было сказать, что с точки зрения высоко-нравственного смысла тот только «человек», кто в сфере, предназначенной ему судьбою, недаром жил на свете, кто честно и свято исполнял свои обязанности, кто сохранил чистоту души, про которого можно сказать без лести и пристрастия, что он сделал все, что мог и что должен был сделать!

Пускай же истлевают солома, служившая

старцу последним ложем, пускай глиняные эти черепки превращаются в прах, как и кости его: из памяти моей, как из памяти всех смиренных людей, которым он сам, не подозревая того, служил советом, образцом и примером, – долго не изгладится честная личность старого пахаря!